

В целом в книге освещаются мало разработанные в науке вопросы культурного развития русских и современной этнокультурной ситуации. “Очерки” имеют выход на решение глобальных проблем благодаря углубленному и конкретному рассмотрению отдельных форм народной культуры. Настоящее исследование – несомненная удача авторского коллектива, сопричастного нашей истории, сумевшего осознать и удаленное от реалий сегодняшнего дня прошлое и обратиться к современности с ее проблемами. Общественная значимость подобных исследований очевидна, так как наблюдается рост интереса широких слоев населения к истории и культуре своего народа. Настоящая книга отвечает на такой запрос, поскольку в ней присутствует поиск исторических и культурных ориентиров, необходимых для развития страны в целом, стоящей на пути обретения национальной идеи. Кроме того, книга продемонстрировала значение этнографической науки в процессе изучения проблем культурного наследия народа. Выявляя отражение его сознания в этом культурном наследии, авторы показывают возможности для подхода к решениям существенных вопросов, касающихся современной этнокультурной ситуации, идентичности народа и многих общественно-политических проблем.

ЭО, 2010 г., № 2

© С.Н. Абашин. Рец. на: *Антропология академической жизни: адаптивные процессы и адаптивные стратегии* / Отв. ред. Г.А. Комарова. М.: ИЭА РАН, 2008. 300 с.

Я всегда испытываю сложные чувства, когда начинаю писать рецензию на коллективный сборник, в котором собраны статьи разных авторов. Как в кратком обзоре рассказать о 10–20 самостоятельных, пусть и небольших, исследованиях? Как подчеркнуть их общие черты, несмотря на порой очень разные интересы и авторские стили? Как найти общую тему, общую проблему, позволяющую взглянуть на сборник как на нечто целостное?

В рецензируемом сборнике ответы на эти вопросы даны во вводной статье инициатора книги и ее ответственного редактора Г.А. Комаровой “Антропология академической жизни в постсоветском контексте”, из которой мы узнаем, что в основе сборника лежат научные доклады, подготовленные для VII Конгресса этнографов и антропологов России (г. Саранск, 2007 г.). Автор отмечает, что использование термина “антропология” в названии сборника предполагает «изучение конкретного способа существования “академического” человека, человека академического образа жизни, а также совокупности ритуалов и повседневных практик, сформированных сообществом “академических” людей, т.е. академическим сообществом, и используемых ими в сфере академической жизни» (с. 5). Ученый, который упивался властью изучать других, наконец-то сам стал объектом научного, этнографического или антропологического, анализа и может на своей шкуре почувствовать, что значит быть под прицелом чужого (собственного?), очень внимательного взгляда.

Нельзя сказать, что такая саморефлексия – что-то совершенно новое в научной жизни. Ученые всегда испытывали потребность размышлять о своей профессии, о себе как исследователях, о своих отношениях с объектами, которые приходится изучать, тем более если это люди. Однако эта саморефлексия вытеснялась в сноски, во введения или заключения, пряталась в скобки или же получала права в жанре воспоминаний. В российской науке, которая поднимала “на гора” кубометры “объективного” знания, у саморефлексии не было своего легального статуса, она считалась чем-то субъективным, посторонним, чем-то, что может только помешать познанию, поставить под сомнение “профессиональный суверенитет исследователя”. Впрочем, иногда стыдливое отношение к “полю” объяснялось нежеланием выносить наружу, показывать порой очень сомнительную изнанку повседневного исследования, подрывать этим авторитет полученных результатов, закрепленных потом в высоком социальном статусе самих ученых.

Пусть читатель сам судит, нужно ли менять эту традицию. Г.А. Комарова предлагает ее поменять, ссылаясь, в частности, на западную антропологию и социологию, где исследование того, как происходит исследование, довольно давно превратилось не просто в популярное на-

учное направление, но и в очень влиятельное, во многом определяющее моды на концепции, структуру научной работы, ее язык и даже стиль.

В сборнике представлены три вида исследований. Первый – сообщество ученых, в нашем случае антропологов (включая этнографов, фольклористов, археологов, социологов), как некая “субкультура” со своей особой идентичностью, ритуальной и фольклорной “традицией”, своими инициациями, формами самопрезентации, своими формальными и неформальными структурами власти и обмена, иерархиями, конфликтами. Второй – “поле” (этнографическое, археологическое, социологическое и пр.) как особая методологическая (эпистемологическая) проблема возможностей и пределов познания, как цель и средство исследования. В какой-то степени с этим связана и проблема научной этики – как проблема ответственности ученого за свои выводы и высказывания. В книге присутствует и третья тема – историография или история антропологии. Все эти темы объединены и в каком-то смысле даже смешаны в одной книжке. С одной стороны, это минус, потому что каждая из тем имеет свои собственные вопросы, сюжеты, свою линию обсуждения, которые оказались как бы немного смазаны, непрочерчены, непроговорены, – именно как отдельные направления. С другой стороны, это плюс, так как читатель может задуматься о тех пересечениях и той общности, которые существуют между этими темами, о влиянии друг на друга вопросов историографии, методологии и организации академического сообщества.

С.В. Соколовский в статье “Российская антропология и проблемы ее историографии” ставит целый ряд самых общих проблем истории и нынешнего состояния этнографии в России. Он пишет о дисциплинарных “границах” антропологии, о способах ее институализации на Западе и в России, о социальном и политическом заказе – и путанице между ними, о доминировании американской антропологии и вкладе российской этнографии в мировую науку, об образе и значении этнографии в российском обществе, о самоизоляции в 1930–1940-е годы и заимствовании западных теорий и подходов, о той роли, которую сыграла “теория этноса” в переопределении и уточнении дисциплинарных границ и одновременно сужении этнографического поля и концептуального аппарата. В статье приводится большая библиография работ западных коллег, писавших о советской и российской этнографии, а также данные о преподавании антропологии в России.

Разделяя почти все, что пишет Соколовский, я все-таки позволю себе сказать, что, говоря о развитии и состоянии антропологии, мы должны очень осторожно выбирать сравнительную перспективу. То, что мы часто называем “Западом” и “западной антропологией”, – это сложное и по-своему иерархическое пространство, в котором есть свои центры и свои периферии. Как только мы перестаем ставить знак равенства между американской антропологией и западной и обнаруживаем, что существует немецкая или французская, испанская или польская, бразильская или японская, китайская или индийская антропологии, и начинаем сравнивать Россию с ними, то ситуация представляется несколько иной и сравнение приобретает новое измерение, не сводящееся к оппозиции “мы” и “Запад”. Мне кажется, что кризисное мышление в наших умах объясняется отчасти и тем, что мы продолжаем видеть себя как центр или по крайней мере один из центров, каковым мы не являемся и никогда не являлись.

Две статьи – Э.Г. Александренкова “Кому служить? Этнограф на российском распутье” и Л. Четырковой “Аористодиеца или как оправдать социальную теоретика эпохи позднего социализма” – в форме эссе предлагают размышления об отношениях ученых и власти. Александренков ставит вопрос: “Есть ли у российского этнографа выбор, кому служить?” и отвечает на него однозначным призывом к лояльности государству: “Если ты работаешь в государственном учреждении, то есть находишься на службе у государства, которое тебе платит, то этот работодатель вправе требовать от тебя заниматься той или иной проблемой” (с. 64), независимая наука и свободное изъяснение мнений ученых – это идеал, который нигде, ни у нас, ни на Западе, недостижим. Четыркова оправдывает служение ученых государству ссылками на Юрчака, Бурдые и Жижека. “Социальный теоретик” в любой политической и идеологической системе стремится к достижению своих целей – материальных, социальных, культурных, идеологическая же мистификация была данностью, которую никто не стремился разрушить, потому что она устанавливала видимый порядок и осмысленность. Люди живут в заданных рамках и воспроизводят эти рамки – это и есть оправдание.

В неважной оппозиции к такому заключению находится статья В.А. Шнирельмана “Наука и этика: могут ли ученые избежать ксенофобии”. Он тоже ставит под сомнение представления о “чистой науке”, но делает из этого другой вывод – об ответственности ученого за то, что он

пишет и говорит. Говоря о распространении ксенофобии в России и о том, что деятельность ученых порой дает в руки экстремистам понятный аппарат, с помощью которого они пытаются легитимизировать свои взгляды, автор задает радикальный вопрос: «любая ли “наука” допустима в обществе?». Впрочем, менее радикальный призыв Шнирельмана к тому, чтобы не молчать, а публично отмежеваться от ксенофобской интерпретации своих работ, выглядит скорее как благопожелание. У меня есть большие сомнения, что если ученый “заговорит”, то это как-то повлияет на экстремистов и что сказанное (от лица “настоящей” науки!) само по себе будет действительно свободно от новых оправданий ксенофобии.

Не умаляя достоинства всех опубликованных статей, я бы сказал, что в сборнике есть две центральные публикации, которые делают издание в целом, на мой взгляд, весьма значительным событием в современной российской этнографии. Первая из них – работа Т. Щепанской «Символические репрезентации знания в неформальном дискурсе “поля”». Эта статья имеет два уровня. На одном уровне автор анализирует ученых-полевиков (этнографов, фольклористов, социологов и т.д.) как особую “субкультуру” (она не боится даже употребить слова “народ” и “племя”) со своим языком, традициями, ритуалами, мифологией, самосознанием. Парадокс, по ее мнению, заключается в том, что наука пытается противопоставить себя обычной социальной практике, которую она изучает, но на самом деле сама – как специфическое “поле” – является той же практикой, о которой можно рассуждать и которую можно анализировать научным языком. Исходя из этого, Щепанская анализирует символический язык “полевика” о трудностях, о преодолении препятствий и даже борьбе с “врагами”, о стремлении исследователя дистанцироваться от власти и о его стремлении стать “своим” в поле, даже о “мистическом опыте”, который присутствует в объяснении “поля”. Если бы автор остановился на этом уровне, то, наверно, это стало бы просто любопытным примером “этнографии этнографии”. Однако Щепанская поднимается (или спускается?) на другой уровень, где она анализирует неформальные отношения, складывающиеся в сообществе “полевиков”, как важную составную часть научной деятельности и научного производства, практики и идентичности, которые консолидируют сообщество и создают возможность научного понимания друг друга внутри него. Рассказ о “поле” – это не столько забавная игра, сколько способ легитимации добытого в “поле” знания и способ (один из способов?) создания “согласованной интерпретативной матрицы”.

Похожей теме посвящены также статьи О. Свешниковой “Экспедиция – это вот что значит. К проблеме изучения повседневности археологических экспедиций”, А. Чубур, Ю. Чубур “Археологи и археология центра Европейской России: взгляд сквозь призму гендера” и А. Кузнецова “Антропология современного провинциального музейного сообщества (на примере историко-краеведческих музеев г. Ульяновска)”. Они пишут о полевиках-археологах или музейном коллективе, которых можно изучать как отдельные “культурные формы” или социальные группы. В первой статье приводятся интересные материалы о том, как археологи представляют свою работу в экспедициях, во второй статистически анализируется гендерный состав археологического сообщества, в котором мужчины, вопреки общим тенденциям, вытесняют женщин (отсюда печальный вывод: “вытеснение женщин из определенной области научного творчества может вызвать (и уже вызывает!) нестабильность в ней, рост внутренних интриг в ущерб работе из-за столкновений стремящихся к лидерству мужчин”) (с. 233), в третьей статье речь идет о конкуренции за финансовые ресурсы и престижные символы, об этике отношений между сотрудниками, о “типах” сотрудников. И хотя в одной из названных статей присутствует ссылка на Латура, ни одному автору не удается, на мой взгляд, выйти за рамки описательного и классификаторского подхода и попытаться перебросить мостик к вопросу о том, как создается знание в том или ином, выделенном ими, пространстве. А этот вопрос, на мой взгляд, является главным.

Интересную попытку классифицировать разные стратегии полевого этнографического исследования предпринял А. Пригарин в статье “Модели исследовательских стратегий в этнологии: вызов поля и индивидуальный опыт”. По мнению автора, они делятся на колониальную, романтическую (антиколониальную) и медиативную. Стремление увидеть этнографа-полевика как неоднозначную фигуру, преследующего разные цели и по-разному выстраивающего свои взаимоотношения с “полем”, заслуживает всяческого внимания, но явное сочувствие Пригарина последней стратегии невольно превращает анализ плюсов и минусов в жесткое разграничение на правильных и неправильных полевиков, при этом ремарка, что один и тот же исследователь может пользоваться сразу всеми стратегиями, в принципе ставит под сомнение подробное описание типов полевика.

В статье Х. Турьинской “Автоэтнографические источники в научном наследии В.В. Богданова” на примере жизни “этнографа, музееведа, фольклориста, географа, организатора науки” В.В. Богданова (1868–1949) в исторической перспективе рассматриваются отношения власти и дисциплины, кабинетной науки и поля.

В отличие от всех остальных статей, которые посвящены изучению “полевиков” как “других”, статья С.И. Рыжаковой «“Тело, разбросанное по земле”. Частная жизнь, профессиональная деятельность и полевая работа этнографа: к вопросу о соотношении этики и прагматики» – это пример “исповедальной этнографии”, как она сама называет. Это вторая, после работы Щепанской, статья, которую я бы отнес к главным удачам сборника.

Рыжакова пишет о том же, что и Щепанская, – о влиянии “поля” на самосознание исследования и конструирование “полевого знания”. Только если питерская исследовательница пытается подойти к теме через анализ (семиотический?) коллективных практик и тех идиом, которые возникают в “поле”, то ее московская коллега изучает собственное “я” и ту ткань отношений, в которые она вступает в “поле”, откуда ее более интересуют “неоднозначный характер получаемой информации (которая может быть использована как во благо, так и во зло), влияние аффектов (а нередко и предубеждений) на сбор материала и тем более его интерпретацию, наконец, личной (и даже телесной) включенности исследователя в исследуемую ситуацию” (с. 165). Обе этнографии делают публичной изнанку полевой работы: если Щепанская рискует, открывая внутрицеховые секреты, то Рыжакова сильно рискует, рассказывая о своих личных “полевых” секретах.

Текст Рыжаковой, на мой взгляд, это не одна, а две статьи: в начале она рассказывает о своих “женихах”-информантах и общении с ними, об исследовательском опыте, который “дает возможность заглянуть в скрытые культурные области повседневной жизни, социального устройства и общественной морали”, потом рассуждает о “точке зрения” этнографа, его возможности видеть, иметь обзор, фиксировать то, что оказывается в поле зрения. В обоих случаях этнограф предстает как действующее лицо, он смотрит и одновременно творит, “режиссирует культуру”. Статья мне очень понравилась и заставила задуматься о многих темах. Например, о различии мужской и женской этнографии, о разных культурных приемах погружения “в поле” и разных “сферах” переживания, которые “поле” актуализирует в размышлениях исследователя. О том, как сознание человека, занимающегося исследованием и одновременно проживающего часть своей жизни в “поле”, переключается с “я-женщины” (или “я-мужчины”) на “я-ученый” или какое-нибудь еще “я”, где проходит черта между ними и где эти идентичности пересекаются. Или о том, каким образом эти переключения, эта игра становятся способами научной легитимации и манипуляции знанием, о моменте, когда процедура самоанализа и саморазоблачения (или разоблачения коллективных практик в “поле”, как у Щепанской) сама превращается в механизм утверждения “экспертного” авторитета.

Вот таким я увидел сборник “Антропология академической жизни”, в чем-то неровный, в чем-то эклектичный, но, безусловно, отразивший многие важные вопросы и темы современной российской этнографии.

ЭО, 2010 г., № 2

© **О.В. Веселовская. Африканские тарикаты и их изучение в российской науке: взгляд этнографа**

“Дерево растет ввысь потому, что его корни уходят в глубь кормилицы земли”

Пословица народа волоф (Сенегал)

Стремительное распространение ислама и укрепление его идеологии на Африканском континенте на протяжении всего XX в. породили интерес к данному процессу исследователей различного профиля. Внимание к подобной проблематике можно объяснить тем, что она затрагивает сферу современных социально-экономических и политических отношений, а также

Ольга Владимировна Веселовская – аспирант кафедры этнографии и антропологии исторического факультета Санкт-Петербургского университета; e-mail: veselo83@yandex.ru; _veselo@inbox.ru